

I

Глухой переулок был плохо вымощен камнем, полон ухабов и неровностей, по краям тянулись узкие, местами побитые тротуары. Подобно потрескавшемуся пальцу, переулок проникал между одно-двухэтажными частными домами, прижимавшимися друг к другу, и в конце концов упирался в два забора, покрытых убогой зеленью.

Окна не выдавали ничего сколько-нибудь сокровенного, в них не было никакого движения. Казалось, что ты в провинции, и все же это был Париж, четырнадцатый округ. Здесь не было нищеты, как не было и богатства, это была жизнь мелкой буржуазии, скрывающей свои сбережения в обивке диванов, щербатых ставнях, ржавых желобах и облезлых стенах с облупившейся штукатуркой. Ворота, однако, были солидными, а окна на первых этажах – защищены прочными решетками.

Этот тихий закоулок насчитывал, наверно, лет пятьдесят, ибо сохранял в причудливых строениях следы стиля модерн. Кто обитал в них? Судя по некоторым витражам, дверным молоточкам, сохранившимся орнаментам, можно было предположить, что за этими фасадами жили вышедшие на пенсию люди искусства, завершившие свою карьеру живописцы, престарелые певицы, бывшие мастера сцены.

На протяжении семи лет три раза в неделю я проходила по этому переулку до конца, до забора слева. Я знаю, как здесь идет дождь, как прячутся от холода жильцы.

Я знаю, что летом здесь устанавливается почти сельский образ жизни с вазонами герани и спящими на солнце кошками. Знаю, как выглядит глухой переулок и при свете дня, и ночью. Знаю, что он всегда безлюден. Он кажется пустынным даже тогда, когда какой-нибудь прохожий спешит к своим воротам или шофер выводит свой автомобиль из гаража.

Теперь мне трудно вспомнить, который был час, когда я впервые переступила порог этого дома. Заметила ли я давно не ухоженные растения в садике? Почувствовала ли гальку на узкой мостовой? Пересчитала ли семь ступенек на крыльце? Успела ли разглядеть стену из жернового камня, пока ждала, чтобы открылась входная дверь?

Не думаю.

Зато я увидела смуглого человечка, который протягивал мне руку. Я заметила, что он был худощав, прилично одет и весьма сдержан. Я увидела его черные глаза, непроницаемые, как матовое стекло. Я приняла его предложение подождать в комнате, которую он мне показал, раздвинув шторы. Это была гостиная в стиле Генриха II, где мебель – стол, стулья, буфет, сервант – занимала почти все пространство, демонстрируя вновь прибывшему барельефы в виде гномов и плюща, спиралевидные колонны из резного дерева, медные диски и китайские фарфоровые вазы. Эта уродливость не имела для меня никакого значения. Для меня была важна лишь тишина. Я находилась в настороженном и напряженном ожидании, пока не услышала справа от штор стук открывающейся двойной двери, затем звук шагов двух человек и легкий шорох, после чего входная дверь открылась и голос пробормotal: «До свидания, доктор». Ответа не последовало, дверь закрылась. И снова легкие шаги к первой двери, короткий скрип паркета под ковром, свидетельствующий

о том, что дверь осталась открытой, затем – непонятное движение. Наконец шторы раздвинулись, и человек пригласил меня в свой кабинет.

Вот я сижу на стуле перед письменным столом. Человек погружен в черное кресло, так что я вынуждена сидеть боком, чтобы разглядеть его. На стене передо мной полки, набитые книгами, к которым приставлена кушетка коричневого цвета с валиком и подушечкой. Доктор явно ждет, чтобы я заговорила.

– Доктор, я уже долгое время больна. Я сбежала из клиники, чтобы встретиться с вами. У меня больше нет сил жить.

Глазами он дает мне понять, что слушает внимательно и что я должна продолжать.

Находясь в прострации, будучи подавленной, отрешенной, замкнутой в своем собственном мире, как я могу найти слова, которые передались бы от меня к нему? Как построить мост, который соединил бы возбуждение и спокойствие, свет и мрак, простиравшийся за каналом, за рекой, полной нечистот, за грозной лавиной страха, которая отдаляла доктора и всех других людей от меня?

Я умела рассказывать истории и даже анекдоты. Но то, что воцарилось во мне, то самое «Нечто», тот стержень моего существа, герметически закрытый, полный движущегося мрака, – как мне рассказать об этом? Это была густая, плотная сущность, пронизанная в то же время спазмами, одышкой и медленными движениями, подобными движениям на морских глубинах. Глаза мои перестали быть «окнами». И хотя они были открыты, мне казалось, что они закрыты и что это – всего лишь два глазных яблока.

Я стыдилась происходившего во мне, этого внутреннего хаоса и возбуждения, и никто не должен был загля-

дывать туда, никто не должен был об этом знать, даже доктор. Я стыдилась своего безумия. Мне казалось, что любая форма жизни предпочтительнее безумия. Я неустанно плавала в весьма опасных водах, полных течений, каскадов, водоворотов и острых осколков, и, несмотря на это, всегда делала вид, что плыву по озеру тихо, как лебедь. Чтобы полностью спрятаться, я затыкала все свои «выходы»: глаза, нос, уши, рот, влагалище, задний проход, поры, уретру. Чтобы как можно плотнее закрыть эти отверстия, тело предоставило мне много «секреторных возможностей». Некоторые виды влаги сгущались до такой степени, что останавливались в своем движении, образуя плотный блок, в то время как другие, напротив, текли безостановочно, также препятствуя таким образом проникновению чего-либо внутрь.

– Вы можете рассказать мне о лечении, которое вам прописали? О специалистах, которые вас консультировали?

– Да.

Об этом говорить я могла. Могла перечислять докторов и медикаменты, могла говорить о крови, о ее приятном и теплом присутствии меж моими бедрами вот уже в течение трех лет, о двух выскабливаниях, сделанных мне, чтобы остановить кровотечение.

Это кровотечение, проявляющееся в разной степени, было мне хорошо знакомо. Эта аномалия не была опасной, потому что ее можно было увидеть, измерить, проанализировать. Мне нравилось превращать ее в главный предмет и причину моей болезни. Поистине как могут не пугать эти постоянные кровотечения? Какая женщина не сошла бы с ума от страха, видя, что таким образом из нее вытекает жизненная сила? Как можно не мучиться от постоянного наблюдения этого интимного, вызываю-

щего стеснение и стыд, открытого источника? Как не считать это кровотечение знаком того, что я не могла больше жить среди других? Я запачкала столько кресел, стульев, диванов, кушеток, столько ковров и кроватей! Я оставила столько луж, лужиц, капель и капелек в столь многих залах, гостиных, приемных, коридорах, бассейнах, автобусах и других местах! Я больше не могла выходить.

Как не сказать о тех радостных днях, когда, казалось, кровотечение останавливалось, оно обнаруживало себя лишь следами темно-коричневого, потом охристого, потом желтоватого цвета. В те дни я не болела, могла двигаться, видеть, выйти из своей скорлупы. Кровь в конце концов уходила свертываться в свой маленький мешочек и дремала там целых двадцать три дня, как раньше. В надежде, что будет именно так, я старалась делать как можно меньше усилий. Я двигалась с большой осторожностью, не брала на руки детей, не таскала с базара корзины, не стояла слишком подолгу у кухонной плиты, не стирала белье, не мыла окна: делала все медленно, спокойно, чтобы исчезла кровь, чтобы прекратились любые выделения. Полулежа я что-то вязала спицами, одновременно присматривая за своими тремя детьми. Тайком, определенным движением руки, которое привычка сделала очень быстрым и искусным, я все время следила за своим состоянием. Я умудрялась делать это в любом положении так, чтобы никто не заметил. В зависимости от обстоятельств моя рука пробиралась спереди меж жестких и кудрявых волосинок, пока не находила теплое, мягкое и влажное местечко гениталий, затем, разумеется, отдергивалась, или же рука легко проскальзывала между ягодицей и бедром и тут же погружалась в глубокое отверстие, после чего быстро отодвигалась. Я не сразу смотрела на кончики пальцев – готовила себе сюрприз. А если ничего нет? Ино-

гда это было что-то столь незначительное, что приходилось довольно сильно скрести ногтем большого пальца кожу на указательном и среднем пальцах, чтобы заметить чуть окрашенное выделение. Тогда я чувствовала себя счастливой: «Если больше не сделаю ни одного движения, то это прекратится полностью». Я цепенела, будто спала, изо всех сил надеясь снова стать нормальной, быть как все. Я бесконечно занималась хорошо известными женщинам подсчетами: «Если месячные заканчиваются сегодня, то следующие будут... сейчас посмотрим, в этом месяце тридцать или тридцать один день?». Я предавалась расчетам, радости, мечтам, пока не вздрагивала от еще скрытой, мягкой, но уже ощутимой, энергичной нежности сгустка, который приносил вслед за собой кровь. Густая спешащая лава, падающая из кратера, проникающая во все отверстия, струящаяся, теплая. И сердце опять начинало стучать, и возвращалась тревога, и исчезала надежда – я вновь бежала в ванную комнату. А кровь уже успевала пробежать по коленям и дальше по ногам каплями красивого ярко-красного цвета. Столько лет, прожитых в бесконечном кошмаре ожидания этой крови!

Меня осматривало множество гинекологов. Я отлично знала, как надлежало придвинуться к краю гинекологического кресла, но прежде водрузить свои раздвинутые ноги на высокие опоры. Открытые внутренности вверялись теплу лампы, глазам доктора, пальцам в тонких резиновых перчатках, красивым и страшным стальным инструментам. Я закрывала глаза или упорно смотрела в потолок, в то время как внутри себя я чувствовала ловкие прикосновения пальцев, производивших совсем не деликатные изыскания. Насилие!

Все это оправдывало, как мне казалось, мою собственную неуравновешенность, делая ее более приемле-

мой, менее сомнительной. Ну разве можно отправить в психушку женщину лишь потому, что она кровоточит, и потому, что это приводит ее в ужас? И пока я говорила только о крови, только она одна и была видна, и не было видно того, что за ней скрывается.

Итак, я сидела рядом с доктором в тишине дома в стиле барокко, в конце глухого переуллка, молчаливая, покорная и любезная – такая, какой должна была быть кровь в полости моего живота. Я еще не знала, что это место и этот человек станут отправной точкой всего, что случится затем в моей жизни.

Я охотно рассказывала о своем визите несколько недель назад к одному известному профессору, врачу-гинекологу.

Специалист, одетый в короткий белый халат и брюки в американском стиле, засунул свою правую руку внутрь меня, а левой начал давить на мой живот, в одном месте, в другом, посередине, толкая мои кишки вниз, туда, где орудовали его одетые в перчатки пальцы, примерно так, как это делает хозяйка, чтобы вытащить из цыпленка потроха одним движением. Я ожидала, что мои внутренности начнут издавать слабые звуки, которые обычно появляются при хождении по грязи: «плюх», «шлеп», «хлюп». Потолок был белым, как «белая ложь» – ложь во спасение. Безгранично белый, настолько, что в нем полностью исчезали отражения больных деформированных влагалищ, девственно белый, способный поглощать мерзкие образы моего воображения.

После тщательного осмотра профессор встал, снял перчатку и, в то время как я продолжала лежать в кресле с раздвинутыми ногами, заявил: «Пока что у вас нет ничего, кроме фиброматоза матки. Я советую вам избавиться от нее, и как можно быстрее. Если нет, то у вас бу-

дут серьезные проблемы, и гораздо раньше, чем вы думаете. Давайте уточним дату операции. Увидите, после этого все будет хорошо. Не будем откладывать, я прооперирую вас на следующей неделе. Посмотрим, какой день вас больше устраивает? Понедельник или вторник?» Я сказала: «Вторник». Затем он указал, какие обследования мне следует пройти, чтобы можно было лечь в клинику. Я отдала ему деньги, поблагодарила и ушла.

Мне было около тридцати лет, и мне не хотелось оставаться без того мешочка и без тех двух шариков. Я не хотела, чтобы текла кровь, но в то же время я хотела сохранить этот узелок в своем животе. Нечто настойчиво возмущалось в моей голове. Я быстро спустилась по мраморной лестнице с колоннами, коврами, ровными медными карнизами, с зеркалами на площадках и оказалась на улице, на широком светло-сером тротуаре одного из красивых кварталов города. Я побежала, спустилась в метро. Там мое внутреннее Нечто охватило меня уже всю, вонзая свои корни в мою фиброматозную матку. Фиброматоз! Какое ужасное слово! Каверна, наполненная кровянистыми волокнами. Отверстие, чудовищно набухшее. Жаба, набитая гнойниками. Карака-тица!

Для душевнобольных слова, как и предметы, живут, подобно людям и животным. Они трепещут, исчезают или, наоборот, приумножаются. Пройти через слова – это все равно, что пройти через толпу. Остаются образы, силуэты, быстро уплывающие из памяти, а иногда надолго в ней закрепляющиеся неизвестно почему. Для меня в то время только одно слово, отделенное от массы остальных, оживало, становилось самым значительным, жило внутри меня, не оставляло в покое, мучило, вновь появлялось ночью и ждало моего пробуждения.

Я тихонько открывала глаза, выходила из гнетущего, «химического» сна, в который меня ввергали транквилизаторы. Вначале я чувствовала себя абсолютно здоровой. Я чувствовала время, солнце. Все шло своим чередом. Я поднималась на поверхность сознания. Секунда, две, может, три. ФИБРОМАТОЗ! Шлеп! Разлившийся, как обильная струя жирной краски на чистой стене. Меня неизменно бросало в дрожь, сердце колотилось, я задыхалась от страха. Так начинался мой день.

Я должна вспомнить и вновь обрести ту позабытую женщину, более чем позабытую, практически растворившуюся. Она ходила, она говорила, она спала. Меня волнует мысль о том, что видели ее глаза, слышали ее уши, чувствовала ее кожа. Ибо именно моими глазами, моими ушами, моей кожей, моим сердцем жила та женщина. Я рассматривала свои руки, те же руки, те же ногти, то же кольцо. Она и я. Она – это я. Сумасшедшая и я начинали совершенно новую жизнь, полную надежд, жизнь, которая уже не могла быть плохой. Я оберегала ее, а она одаривала меня воображением и свободой.

Чтобы рассказать о моем превращении, о рождении, я должна отдалиться от той сумасшедшей, держать ее на расстоянии, раздвоиться. Я вижу ее на улице, она спешит. Мне известны ее старания, я знаю, сколько усилий ей приходится прилагать для того, чтобы выглядеть нормальной, прятать свой страх за взглядом. Я вспоминаю, как она стоит со втянутой в плечи головой, печальная, поглощенная усиливающимся внутренним беспокойством, отводящая глаза. Чтобы только ничего не обнаружилось! Больше всего она была озабочена тем, чтобы не упасть на улице, чтобы ее не схватили другие и не повезли в больницу. Мысль, что она уже не в состоянии со-

владать с безумием, нараставший поток которого в один день разрушил бы дамбу и широко разлился, бросала ее в дрожь.

Маршрут ее походов все больше сокращался, и в один прекрасный день она перестала выходить в город! Потом в какой-то момент ей пришлось сократить и свои передвижения внутри дома. Капканы множились. Последние месяцы перед тем, как ее отдали в руки врачей, она могла жить лишь в ванной. Белая комната, кафель ромбиком, слабый свет из окошка в форме полумесяца, почти целиком закрытого ветками массивной ели, стучащими в окно в ветреные дни. Комната, в которой должно пахнуть только антисептиками и туалетным мылом. Ни пылинки по углам. Пальцы скользят по плитке, как по льду. Никаких следов разложения или брожения. Лишь неразлагающаяся материя или, по крайней мере, разлагающаяся столь медленно, что невозможно было представить ее окончательно испортившейся.

Между биде и ванной – именно там ей было уютнее всего, когда она не могла больше справляться с внутренним Нечто.

Там она пряталась, ожидая, когда лекарства возьмут действие. Сворачивалась калачиком: пятки касались ягодиц, а руки изо всех сил прижимали колени к груди, ногти впивались в ладонь так сильно, что в конце концов образовывались ранки, голова качалась во все стороны, будто налитая свинцом, а кровь и пот текли ручьями. Это Нечто, которое состояло из чудовищного клекотания образов, звуков, запахов, рассеивающихся во всех направлениях сокрушительными толчками, разрушало связность любого суждения, делало абсурдным любое объяснение, бесполезной любую попытку упорядочения, пробиваясь наружу сильной дрожью и противным потом.